



ЧАРУЙ МЕНЯ, НЕ УХОДИ

Миниатюры

ДВА РОМАНА

Можно писать два романа одновременно: в один как бы сливать всю чернуху, другой же пусть будет радостный, светлый, смешной. Только захочется испортить этот второй какой-нибудь гадостью – а ты её – раз! – запиши в первый. Чувствуешь, не в том настроении встал – берись за первый, а второй не трогай. Подожди, пока жизнь наладится. Конечно, темпы продвижения радостного романа будут гораздо ниже, чем у... настоящего. Но это ничего, зато получится такой дистиллированный... добыт на бесперспективных полях, по капле, неприглядное оборудование уничтожено (первый роман, разумеется, сжечь), главное – верить, что он тоже настоящий, писать его на откатах маятника (ведь они бывают, как бы криво ни висели часы), не пропуская ни единого мига светлых озарений.

LE PEUPLE PLIE

Поэтический погребок. В оживлённой компании за соседним столиком (она здесь самая большая – стойку облепил десяток разрозненных зрителей, за остальными столиками разместились непары), наверное, и сам Luc Soriano, вот этот пластичный, одновременно седой и лысеющий, глубокомысленный и говорливый. Посмотрим... За стойкой и касса, и бар, первый напиток входит в цену билета, и я выбираю *kir bréton* за красивое слово «кирять». Замешательство. Сядьте за столик, сейчас мы все выясним. Посоветовавшись с остальными поэтами и улыбаясь от уха до уха, приносит, всё оказалось несложно: яблочный сидр с кремом-де-кассис на два пальца. Я извиняюсь, что не смогла подсказать рецептуру сама. «Ничего, здесь у нас все сумасшедшие. Видно, мадам тоже пишет стихи?» От оживленной компании отделяется саксофонист, занимает место на сцене. Я пью кир бретон, идёт время, непара

за другим соседним столиком подчеркнуто не знакомится, устремив ноги в разные стороны – они здесь не за этим, а за искусством (может быть, просто друг другу не нравятся или цену набивают), наизготовку встает говорливый пластичный, но ничего не происходит... С маленькой сцены струится лиловый свет. Стены из розового кирпича, как и вся остальная Тулуза. Обещано изучение КРАСНОГО во всей его подоплеке (*LE ROUGE ET LE ROUGE*), французы все леваки... Непары заказывают по второму, уже за отдельные деньги, и только тут, как по договоренности с менеджментом, откуда-то робко выходит на сцену сам Люк Сорьяно, не седой и лысеющий, а никакой. Он хотел бы вообще провалиться сквозь землю, он так умоляюще смотрит на саксофониста и, наизготовку, второго (как выяснится через пару минут, тот будет с краешка сцены показывать его стихи в переводе для глухонемых!), словно хочет и тут как-нибудь договориться, не справятся ли они вдвоем без его участия... Но безжалостный саксофонист уже дунул, и Люку Сорьяно, как бы он страшно ни нервничал, остается, пропустив пару-тройку зачинов, вступить: лё-пёпл-пё-плие/ эн пёплие/ он-пё-плие/ он пли, и второй, плотский и говорливый (когда не работает), изображает, что гнется народ, прогибается тополем, может прогнуться – и гнется... Зачем же так мрачно? Не далее как сегодня утром, отправившись выносить мусор, застала пальбу, дым, знамена – группа людей, довольно неплохо распевающая «Интернационал» (я ушам своим не поверила!) удалялась по Рю-де-Метц в сторону Капитолия, цепь полицейских стояла нейтрально, хотя и не очень-то словоохотливо – на мои расспросы взглядом отослали к канопированному старичью на бульваре Карно, под Триумфальной аркой; те с удовольствием объяснили: “*Les pompiers manifestent, madame. Ils ne sont pas contents. C’est pacifique, mais*”¹, – и стариканы пожали

¹Пожарные вышли на демонстрацию. Они недовольны, мадам. Демонстрация мирная, впрочем. (фр.)

плечами, изображая на языке глухонемых, что они-то привычные, тоже в душе леваки, но представителям слабого пола и менее решительных наций лучше бы здесь не стоять среди мирной, но кто его знает (ведь можно надеяться!) демонстрации пожарных, бастующих за лучшее будущее. Пластичный часто сменялся – он уставал, вся большая компания: мужчины и женщины, бунтующая молодежь и намного-намного постарше оказалась дублерами на язык глухонемых, и они проводили руками по шее, стискивали кулаки, потрясали, топтали, неистовствовали – лишь один Люк Сорьяно, не сменяясь (чего там, работа не пыльная), всё равнодушной (он, наконец, успокоился) шлепал губами: *le peuple plie, un peuplier on plie, on peut plier on plie*, – так, как будто снаружи шёл дождь и он вслушивался только в это.

ЧАРУЙ МЕНЯ, НЕ УХОДИ

Бабушка Ч. исполняла романсы, а дедушка Ч., композитор, их сочинял, перелагая на музыку разнообразную любовную лирику. Дедушку я застала в живых, я ходила к Ч. после школы каждый божий день, мы гремели лифтом, хлопали дверью, шумели в прихожей, рвались на кухню, роняли кастрюли и табуретки, а дедушка целыми днями сидел у пианино. На пюпитре стояли не ноты, а полупустая тетрадь, слитная музыка не раздавалась, а с интервалом в минуты там нажимались отдельные клавиши, иногда вроде короткая фраза, но тут же она обрывалась резчайшей и неуместнейшей нотой – дед промахнулся. Он был высокий, негнувшийся и не имел выраженья лица. Отчего он промахивался – неизвестно, пальцы не слушались или не слушалось там, в голове. Пару минут отдыхал и опять брал препятствие и иногда (выходило по-прежнему мимо) коротко чиркал в тетрадке, как будто, отчаявшись, ставит себе галочку за попытку. Опять отдыхал. Над пианино висел портрет бабушки Ч. в позе Ермоловой, в концертном платье. Мы не обижали его: переливать из пустого в порожнее – это законное дело дедов, кто читает газету, кто ночь напролёт ловит «Голос Америки» (это на даче, как правило), кто ходит с палкой по улице, кто стоит в очереди за продуктами, кто репетиторствует слабым голосом, невразумительно, но так мало берет, что родители учеников соглашаются. Что вот всё

это? Победа над временем и над собой? Шаг за шагом, нота за нотой, новость за новостью, кота за хвост... Нет, скорее привычка. Мы не обижали, только уж если, конечно, он сам заведет о домашней работе, о супе или пойти погулять, Ч. вырывалась и падала на спину и холодно говорила: «Теперь у меня перелом позвоночника». Именно от такой травмы погибла бабушка Ч.

Портрет бабушки Ч. был чуть-чуть незакончен – художник его недоделал и умер, и внизу холста, где на черном шелковом платье сложены руки, была голубая грунтовка, – но мне он казался законченным. Все было ясно. Бабушка моет посуду. Гости ушли, и одна её кисть, исчезающая в мыле грубых мазков, явно находится внутри бокала, другая же кисть скрыта складками белого кухонного полотенца, которым она собирается вытереть этот хрустальный бокал, ополоснув в голубом, плещущемся на дне портрета. Бабушке грустно, что надо ждать следующего дня рожденья, на этом портрете – поздно, темно, надо бы побережь лучшее платье, надев поверх фартук, снять кольца, сверкающие сквозь грунтовку и пену, но бабушка длит мгновенье своего торжества.

КОРМУШКА

Повествование редко происходит зимой. Основное течение жизни в литературе случается летом, когда в световом дне хватает времени на все события и приятно описывать, кто во что был одет, а в крайнем случае и так не холодно. Летом им везде стол и дом, брачное ложе и детская, а зимой они все – мухоловки, синички, тираннусы – собираются у кормушки. На спиле примощается белка. Поведенье хвостом – единственный жест, удающийся ей целиком, остальные движенья: брейк-данс, серия мелких подвижек корпуса, шеи, как плохой робот – наверное, несовершенство нервной системы. И видит, и чувствует, и акробатически распласталась вразтяжку между стволом и блюдечком, но оно крутится, крутится – и неизбежно уходит из-под нее. Как-то к кормушке является дятел. Он деловито, ссутулясь, садится под купол (весь он туда не влезает) и начинает долбить. Сцена из «Лисы и журавля». Серенькие с белой грудью расселись по веткам и смотрят как на

сумасшедшего. Бах! (Не шугануть ли? А то он так блюдце расколет. Но слишком, мерзавец, красив, в красной шапочке и с черно-белой полосатой спиной.) Чуть сдвигается, чтоб увеличить рычаг – бах! – ходит все ходуном, мелочь нервничает, летят зерна и напрасно тонут в снегу. Говорят, что у дятла язык, вместо того чтобы сразу свернуть в гортань, описывает петлю вокруг мозга, создавая прокладку для амортизации шока. То есть, если виды среди птиц засчитать за профессии, дятел здесь был бы боксером, которого всё время бьют по голове. Попусту истерзав черепушку, он улетает долбить в другом месте, и серая мелочь, пересидев конкурентов и ужасы ледяной бури, – как в каменоломне, глухие раскаты из недр, крыши гудят под обвалом и, как в любой битве титанов, нет ни вождя, ни сторон, ни причин, ни победителей, только наутро груды выведенной из строя боевой техники и черно-белый блеск воинской доблести (видимо, только эффект ото льда) – пересидев это всё, мухоловки спускаются и начинают клевать. И куда делось лето? Оно делось быстро ещё потому, что лето не наше форте, нам удаются лишь межсезонья и зимний дубняк; страницы лета пролистаны в спешке, с досадой пропущены все описания природы – и мухоловки спускаются и начинают клевать.

КОРРЕСПОНДЕНТ

В детстве отец, вконец спившийся директор банно-прачечного комплекса, иногда рассказывал Г. о войне. Он был командиром партизанского отряда, и вот однажды к ним приехал корреспондент. Нагнувшись, он вошел в землянку как раз после боя. Отец утверждал, что после боя испытываешь смертельную усталость, просто неопишуемую физическую усталость, даже если ты не ранен, а он был к тому же слегка ранен в плечо, его перевязали, и он сидел за каким-то подобием стола в этой землянке и еле владел собой. Хотелось лечь и заснуть. Корреспондент начал расспрашивать. Он стал диктовать, чтобы глупостей не написали. Язык заплетался, наваливалась дрема, но принимать корреспондента, как он понимал, было важное дело, и важно, что он там напишет. Он объяснял какие-то их местные выражения, и журналист поспешно в блокноте фиксировал колорит. Иногда отец

Г. все-таки проваливался в сон. Но сквозь сон продолжал отрывками видеть, как корреспондент, потеряв собеседника, наклоняется над столом. Стол был завален трофеями, собранными с мертвых немцев. И сквозь сон он продолжал видеть, как корреспондент жадно сгребает и рассовывает по карманам цепочки, часы, и, заметив, что командир проснулся, торопливо садится и задает очередной вопрос. С фронта отец Г. вернулся не домой, не к жене. Г. никогда с ним не жил. Г. жалеет, что запомнил только эту историю и что в их короткие встречи побольше не расспросил о войне (впрочем, себя извиняя, что он был мальчишкой). Но особенно его мучает один вопрос: уже после, когда отца турнули из директоров банно-прачечного комплекса и он ходил ветераном по школам, где ему наливали за воспоминания перед школьниками, интересно, ревниво думает Г., что он им рассказывал – то же, что мне?

КАК СОКРАТИЛАСЬ ДРОБЬ

Когда все мы искали работу, жилье, учились водить, говорить, подтверждали дипломы и всех нас возили мордой об стол, оставалось одно утешение – зато мы умнее. Множество раз на бис пересказывалась история: «Я только взглянула и обсчитала ему результат. Он обалдел. Говорю: очень просто, я дробь сократила». – «Надо же, как интересно. И что, и всегда так бывает? Или тут просто совпало?» И все мы покатывались, заглушая дикий конец истории: «Знаешь, ты лучше так не сокращай, а то мало ли что». Ликовали особенно гуманитарии – им приходилось особо хреново и было приятно, что этот момент даже они помнят с третьего класса. И вот прошли годы, все стало легче, и по ненужности история почти забылась, но как-то взгрустнулось, и я вдруг решила прибегнуть к старому средству:

– Все верно, но лучше вы не сокращайте дробей!

Вопреки ожиданиям мой собеседник не покатылся. И не улыбнулся.

– А-а-а, ты все об этом... Давай-ка я объясню. Понимаешь, она сократила ту дробь в ОТК фармацевтической лаборатории. Там эти длинные мерзкие дроби, помноженные на другие, не математика, а описание процесса, как ты приготовил раствор: взял 10 мл на 100 мл другого говна, математика здесь ни при чём, ты же не брал 1 мл на десять. Теперь ты

должен им показать, что ты делал, и «сокращать» эти дробы – безграмотно, вот тогда все и смеялись.

ЦВЕТЫ, ПОБЫВАВШИЕ В ТЫЩЕ ГРОбОВ

Он работает в группе каскадёров. Довольно сложная, рискованная и неплохо оплачиваемая профессия, но за переноску гробов от автобуса до похоронного зала он за три дня зарабатывает больше, чем там за неделю. То есть не на порядок, но всё-таки вдвое. Кой черт тянет его за язык, неизвестно (сам же сказал, что такие вещи не принято комментировать даже с теми, кто с тобой вместе работает, – просто убьют), но почему-то он тянется нам рассказать, как всё это выглядит на самом деле. Вот опускается гроб (гвоздями давно уже не заколачивают, на двух винтах). Сначала, конечно, сгребают цветы (уже через полчаса они снова в торговом обороте). Потом, если мало-мальски приличное (а оно все-таки, как правило, хоть мало-мальски приличное) – раздевают. Гроб (современный, красивый, хороший дизайн) тоже, конечно, немедленно поступает в торговый оборот, и наивные ухищрения некоторых родственников его попортить (чаще всего изрезать ножом лакировку) не помогают – там заранее всё приготовлено, чтобы почистить, аккуратненько зашпаклевать и подкрасить. Тело... Ты себе воображаешь, что, когда закрываются створки, в ту же секунду его охватывает пламя, но на самом деле его, предварительно освободив от полезной нагрузки, как было описано выше, складывают в штабеля и сжигают по-братски, когда накопятся. Дальше урна. Опять же мы воображаем, что в этой конкретной посуде, с этой конкретной фамилией материально покоится пепел родных костей. Нетрудно догадаться, что на самом деле его зачёрпывают совком из общих отходов. Он ещё много чего рассказал (вот, к примеру, это государственный крематорий, а там, за углом, частный: что там происходит, кого там сжигают и как вообще, никто никогда не узнает; держат его братки и на всякий случай рутинно меняют весь персонал, скажем, раз в месяц. Осветил также тактику ценообразования, вопросы сотрудничества и конкуренции разных похоронных бюро). Но всё-таки самым гнетущим итогом рассказа осталось недоумение: сколько кончающихся миров утиралось этим больничным полотенцем,

сколько несчастной и лучшей любви пролилось на эту мотельную простыню, сколько трясущихся рук вывело именно эти строчки, а оскорбляет нас в нашей неповторимости разве что прагматизм гробовщика.

ЗАДЕРНУТЫЕ ЗЕРКАЛА

С тех пор как умер настройщик, родители не настраивают пианино. Им говоришь: «Ужас же, как расстроено! Невозможно играть!», а они отвечают, и совершенно резонно: «Как же его настроишь? Сергей Сергеич умер». И ты понимаешь, сколько московских семейств после смерти Сергей Сергеича не настраивает пианино: его не коснётся чужая рука, не проникнет в квартиру бандит под видом настройщика, не времена рисковать и не возраст ни наводить справки, ни заводить в записной книжке новые телефоны. Мэтр умер, теперь не до музыки, *vive le roi*, дребезжащая слава расстроенных струн, инструмент, навсегда выходящий из строя со смертью последнего носителя промысла – редкой свистульки, манка, – как в январский день, когда умер Бродский.

РЕЦЕНЗИЯ

Бывшая теща Х. была таким интеллигентным человеком, что он долго с ней общался уже после всего. И когда он, наконец, закончил роман, именно теща написала ему те слова, которые в такую минуту необходимо услышать. Х. вообще поражался (не то что обидчиво, а с любопытством), почему этих слов не произнес больше никто. По идее, они ничего не должны были стоить: знакомые Х. не писали романов и даже их не читали, и никаких жертв самолюбия, принципиальности или своей репутации не принесли бы. Чего им терять? Укрепляя его в заблуждении этого дела, они даже как бы его устраняли из прочих – осмысленных – сфер конкуренции. Одновременно они были люди воспитанные, и если, скажем, послать им фотоотчёт о поездке, то ни один не откликнулся бы «посмотрю на досуге, сейчас очень занят», чтобы к этой теме не возвращаться больше уже никогда. Так же, как ни один бы не стал составлять ему полный критический список, куда бы он должен был съездить, что снять, и какую найти себе новую бабу. А теща писала: «Ты

гений. Сижу у компьютера и льюсь слезы». Да зашибитесь вы все, он и сам знал, что фирменный гений (вон он, в витрине) ему просто не по карману, но эта находка в развале общечеловеческой жизни ему всё же стоила годы труда и воспитания, в мусоре, вкуса. Могли б похвалить. Одним словом, он так обалдел от адекватности тещи-старухи, что даже не сразу заметил приписку: «Перепошли мне вложение в другом формате, а то чего-то не открывается».

УРОВНИ СТРЕССА

Исследование показало, что из шести крыс, помещенных в специальную клетку, отделенную от пищи туннелем с водой (причем заполненным доверху, так что плыть нужно задерживая дыхание)

- две всегда будут крысами-эксплуататорами (сами не плавают, отбирают принесенную пищу);

- две всегда будут крысами-эксплуатируемыми (плавают, делятся пищей);

- одна – независимый (сам себе носит и бьется за право всё съесть самому);

- и козел отпущения (плавать не может, ворует, питается крохами, бит смертным боем).

Узнав об этом, Ф. сразу понял, что он независимый. Он никогда не заел бы чужого и никогда б не отдал своего. Потому и не скажешь, что вот, мол, Ф. многого в жизни добился. Он знает, чего он добился – нормально, с достоинством существовать. Но взглянув так немного по сторонам, он заметил, что к а ж д ы й в его социальном кругу совершенно уверен, что он независимый. Тут-то Ф. и заподозрил, что это самообман. Тут-то Ф. вспомнил моменты, когда он не может в туннеле доплыть и питается крохами (А вообще-то хоть раз он туда доплывал? Оказалось, что пиршества в памяти связаны с рожами тех, кто по разным причинам очень много тогда не доел). А бывают моменты, когда он все плавает, плавает... и всё впустую. Ф. не особо

утешило то, что самый высокий уровень стресса отмечен не у эксплуатируемых и даже не у козла отпущения, а у эксплуататора. Глупо мечтать, как они там боятся народного гнева, живут с паранойей и уничтожают соперников. Что любопытно, шесть эксплуататоров в одной клетке устроят кровавую битву, наутро же в клетке окажется: двое эксплуататоров, двое эксплуатируемых, один независимый и один козел отпущения. Так же распределятся и шесть эксплуатируемых, и шесть независимых, и шесть козлов отпущения (трое из этих козлов, заметим, научатся плавать). А если взять множество крыс, битва будет особо кровавой, эксплуатация – сложной, поуровневой, но пропорция – та же.

Рассмотрев схему клетки, Ф. четко увидел, что съесть там, на месте, и плыть уже порожняком, как вначале ему показалось разумным, нельзя. Ф. стыдился: нельзя быть козлом, нужно плавать. И тут Ф. вспомнил множество случаев, когда, работая над совместным проектом с группой коллег, он слегка отстранялся, не папа же Карло, и кто бы хоть слово сказал. Может, на фоне общей популяции он и не тянет, но, оставшись среди своих, т. е., если шесть мудаков засадить в одну клетку, вполне можно рассчитывать на приличный социальный статус. Или взять с тем же кровавым, поуровневым, когда в клетке сидят миллионы, – ведь он не на фабрике пашет и даже не каждый день выходит на работу, и не всегда к девяти, и вообще, заправив в штаны мешающий хвост, выполняет очень ответственные общественные поручения подчас весьма высокопоставленных крыс. И настроение у Ф. заметно улучшилось.

ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ

Застолье, шампанское, все вспоминают забавные случаи, хвалят достоинства и достижения года (его, главное, остроумие), и первый раз вдруг подумалось: а повод-то – невеселый.